

его грандиознаго и оригинальнаго таланта. Скажу больше, не совѣм еще понятаго.

В старой Россіи его внутренняя свобода и равнодушіе к почти обязательным темам “гражданской скорби”, на которых дѣлали литературную карьеру его сверстники, родили в тогдашнем русском обществѣ по отношенію к Бунину нѣкоторую настороженность с отгнком враждебности.

Впрочем в своем “Господинъ из Сан-Франциско” Бунин пытался идти в ногу “с вѣком”. Но получилась одна из прекраснѣйших бунинских жемчужин, на которой пятнышком вѣлось сопоставленіе танцующих миллионеров с потѣющими внизу коцегарами. Как будто коцегары потѣли бы меньше, если бы на верху не танцевали миллионеры в смокингах, а мычали аргентинскіе быки? Больше к этим темам Бунин не возвращался.

Эта настороженность оставалась и в изгнаніи, хотя и перестала быть враждебной. Говорилось: большой писатель, но... В чем заключалось это “но”, никто не мог бы сказать. Так как его просто не было. Среди нас, в изгнаніи жил и творил, и среди нас же и умер, один из грандиознѣйших русских писателей, и, без всякаго сомнѣнія, самый большой писатель двадцатаго вѣка.

Умер он в ночь с седьмого на восьмое ноября прошлаго года в возрастѣ восьмидесяти трех лѣтъ, по своему обыкновенію не отпраздновав новаго юбилея. Старость удручала его и физически, и морально, и вѣроятно близости смерть, и своей неэстетичностью. Долго болѣл, вѣрнѣе угасал. Ему, привыкшему к солнечному югу Франціи, конечно, не подходил гнилой климат Парижа. А воспаление легких в его лѣта, уже само по себѣ, походило на смертный приговор. Кромѣ того он категорически отказывался от необходимаго переливанія крови. В этом отказѣ—весь Бунин, пантеист и христіанин одновременно.

Умер без страданій и, вѣроятно, не зная, что умирает, внезапно почувствовав себя нехорошо. — Миѣ очень нехорошо, — обратился он к Вѣрѣ Николаевнѣ Буниной, приподнимаясь на постели, — дай, я спущу ноги... Это были его послѣднія слова в этой жизни. Он съѣл и навсегда из нея ушел.

Хоронили его в слѣдующій четверг, 12-го ноября, в Александроневском Соборѣ.

Стоял чудный и теплый осенній день. Клены и платаны Курсельскаго бульвара как-то по-русски печально теряли желтые листья, совѣм, как в его “Темных Аллеях”. Осень в Парижѣ, пожалуй, время года болѣе других напоминающее Россію.

Я ѣхал один, с мыслью хотя бы прикоснуться к его гробу, не успѣвъ в этой жизни дотронуться до его руки. В переполненном соборѣ с трудом протиснулся поближе к гробу. Он стоял покрытый черным, с серебряным галуном, сукном и осенними цвѣтами, строгій и одинокій среди живых.

Первая часть православной панихиды напряженно трагична, так же, как вторая часть, послѣ тройнаго “аллилуйя” умиротворяюще печальна, а “Вѣчная память” уже просто предлагает продолжать жить. И всегда какая-то теплая радость разливается в душѣ и отражается на лицах. И только-что печальные и молчаливые люди дѣляются возбужденно-хлопотливыми, полными радости жизни.

И какой-то пожилой человѣкъ, вѣроятно причастный к церкви, все хлопотал у гроба, с котораго другіе люди убрали уже вѣнки и цвѣты, сокрушаясь, что некому будет выносить Бунина, и не выносить же его равнодушным служителям конторы похоронных процессій! Тогда я стал у гроба у ног, и когда мы его подняли — позади себя я слышал, как переключались друг с другом извѣстныя имена русской зарубежной литературы, среди которых я попал только лишь потому, что долго не мог отойти от гроба — и понесли, я оказался справа впереди и чувствовал тяжесть дубоваго гроба на лѣвом плечѣ.

А потом его увезли в автомобилѣ в Sainte Genéviève, и я поспѣялся съѣсть в автокар, в котором были еще мѣста, и люди, которые его провожали, пили водку в русской лавкѣ и говорили уже о своих дѣлах. Я тоже пил водку, но думал о том, как его мчит быстрходный автомобиль-катафалк по асфальтовым дорогам, непохожим на проселочныя дороги Орловской губерніи, как откроется вдруг на горѣ бѣлая церковь с синей луковкой, окруженная тополями на фонѣ пожелтѣвшаго лѣса, за оградой которой его уже ждет глубокая, вырытая в коричневой глинѣ, яма. И думал, что все это было так же необыкновенно просто, как у него самого. Жизнь, любовь, смерть!

И еще о том, что когда-нибудь, когда русскій народ начнет собирать по міру свое разсѣянное и разграбленное богатство, тот гроб, который я только что нес, уже полуистлѣвшій, может быть, и заключенный в новый гроб, другіе русскіе люди понесут на плечах по русским улицам, новые вѣнки и цвѣты будут его украшать, и хор впереди медленный и торжественный, будет пѣть “Коль Славен наш Господь в Сіонѣ, не может изяснить язык”!

Евгеній Яконовскій.

## ИВАН АЛЕКСѢВИЧ БУНИН

Позабыло, сердце, позабыло,  
Многое, что нѣкогда любило.  
Только гѣх, кого уж больше нѣтъ,  
Сохранился незабвенный слѣд.

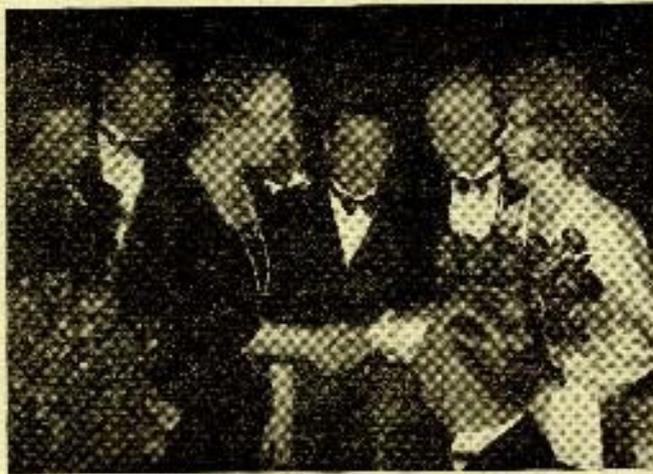
Ив. Бунин.

С памятью Ив. Ал. у меня много связано. Послѣ войны он *первым* привѣтствовал мое выступленіе в печати. Он внушил миѣ мысль написать повѣсть “Нищій принц”. Написал миѣ: “Не только совѣтую, но даже прошу писать повѣсть”. С именем Бунина у меня связана лучшая пора жизни, лучшія воспріятія русской прозы. Когда еще в 1948 году я написал Ивану Алексѣвичу письмо, напомнив наше мимолетное и короткое знакомство на югѣ, в страшные годы русской смуты, — он немедленно откликнулся и прислал миѣ книгу своих стихов. Потом еще ряд книг. Я счастлив, что имѣю от Ив. Ал. двадцать три письма, фотографию с надписью, книги с его ласковыми строчками, написанными уже дрожащей рукой. А какія письма! Всюду он спрашивает, как мое здоровье, какіе планы на будущее, что собираюсь печатать, как двигается повѣсть. И всюду неизмѣнная привѣтливость, ласковость:

“Крѣпко обнимаю Вас, Ваш сердечно Ив. Бунин”. Хочется как-то забыть о всѣх журнальных и газетных статьях и воспринять Бунина как бы *впервые*. *Открыть* его. Кто-то, гдѣ-то писал, — в упрек, конечно, — “холодный классицизм, вышніе стихи”... Впрочем, я не собираюсь защищать Бунина. Его память в защитѣ не нуждается. Это само собой разумѣется.

Открываю книгу стихотвореній Бунина:

Осенній день. Степь, балка и корыто.  
Рогатый вол, большой соловый бык,  
Скользнув в грязи и раздвоив копыто,  
К водѣ ноздрями влажными приник.



В Стокгольмѣ послѣ врученія нобелевской преміи.  
В. Н. Буниной подносят цвѣты.

Сосет и смотрит свѣтлыми глазами,  
Закинув хвост на свой костлявый зад,  
Как вдоль бугра, в пустой небесный скат,  
Бредут хохлы за тяжкими возами.

Каким надо быть большим художником, чтобы стихотвореніе, наполненное прозаизмами, сдѣлать подлинно-поэтическим! *Открываешь*, перелистывая том стихотвореній Бунина:

Волна, шумя, вела бесѣду с Богом,  
Не поднимая соннаго чела.

Образ шестикрылаго архангела, образ Богоматери, трогательно-простой дѣвушки, но уже осіянной Благодатью, образ князя Всеслава, Архангел Гавріил, блестящій огнедышащим кадилом — все образы подлинной поэзіи.

Настанет день — исчезну я,  
А в этой комнатѣ пустой  
Все то же будет: стол, скамья  
Да образ древній и простой...

Величественная, но равнодушная в своем величій, природа. Бунин умѣл точно и ярко ее изназвать. Бунин в стихах всегда мастер. И поэтому парнасская холодность не мѣшает его лиричности и его любимому приему: какая-то внезапная деталь, какой-то образ — метафора вдруг освѣщает всю композицію, дѣлает стихотвореніе образцом подлиннаго боговдохновеннаго искусства. Постоянное сближеніе міра чувственного с міром видимым, мыслимым — философски-лирическое раздумье. Одухотворенный пейзаж, запечатлѣнный в максимально-скупой экспозиціи.

Ходячее мнѣніе — Бунин болѣе прозаик, чѣм поэт — оставим на совѣсти провозгласившаго эту “истину”. Бунин — поэт, пишущій прозу. Бунин — прозаик, пишущій стихи. Вѣдь прозу писали и Пушкин, и Лермонтов! Поэзія Бунина — неотъемлемая часть его прозы. И наоборот. Развѣ страницы, даже главы, “Жизни Арсеньева” не звучат особым поэтическим ритмом? Только расположены в строчку, а не колонкой. Бунин живет, думаю, не только для меня. Поэтому эту краткую замѣтку (краткую, вѣроятно, потому, что в годовщину смерти Бунина будут писать много, длинно) хочется закончить отрывком его стихотворенія, *почувствовать* духовно Ивана Алексѣевича:

Лѣтній вѣтер мотает  
Зелень тонких вѣтвей —  
И ко мнѣ долетает  
Свѣт улыбки твоей.

Юрій Трубецкой.

## ИНОСТРАНЕЦ О ШМЕЛЕВѢ

Я пишу эти строки не без смущенія, — признаюсь, даже с нѣкоторой опаской, с чувством, напоминающим мнѣ то волненіе, какое я испытывал в день перваго моего визита к Ивану Сергѣевичу. Тогда, поднимаясь по лѣстницѣ дома на улицѣ Буало, гдѣ юн жил, я неуверенно перебирал в умѣ обрывки знакомых мнѣ русских фраз и выраженій. Вдруг, придется говорить с ним на его языкѣ? А сейчас предстоит мнѣ, иностранцу, говорить с русскими о большом русском человѣкѣ и сказать о нем, насколько я умѣю задушевно по-русски, мое прощальное слово...

Я давно мечтал о встрѣчѣ с ним. К этой встрѣчѣ я готовился, предвкушая ее, как нѣкое умственное приключеніе. Но я не знал, что желаніе исполнится лишь незадолго до юнщины Ивана Сергѣевича, — я не мог предполагать, что постучусь в его дверь неожиданно-негаданно в дни, когда над ним уже была смерть. Кажется, я был послѣд-